



**МЭРИ
ШЕЛЛИ**

**ФРАНКЕНШТЕЙН,
ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ
ПРОМЕТЕЙ**

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Мэри Шелли

**Франкенштейн, или
Современный Прометей**

«АСТ»

1818

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Шелли М. У.

Франкенштейн, или Современный Прометей / М. У. Шелли — «АСТ»,
1818 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

«Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818 г.) – роман, написанный Мэри Шелли в 19 лет, ставший чуть ли не самым известным фантастическим романом в истории литературы. Имя Франкенштейна уже давно вышло за пределы книги, стало предметом многочисленных переработок, подражаний, персонаж как будто перерос сам себя. Это страшная, пугающая история об ученом Викторе Франкенштейне, которому удалось постичь тайну зарождения жизни и создать существо, которое окажется монстром, безобразным, жестоким и безумным. Это творчество дорого обойдется создателю – фактически монстр разрушит всю его жизнь...

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

© Шелли М. У., 1818
© АСТ, 1818

Содержание

Предисловие автора к изданию 1831 года	6
Глава I	17
Глава II	20
Глава III	23
Глава IV	27
Глава V	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Мэри Шелли Франкенштейн, или Современный Прометей

© Перевод. З. Александрова, наследники, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Предисловие автора к изданию 1831 года

Издатели «Образцовых романов», включив «Франкенштейна» в свою серию, высказали пожелание, чтобы я изложила для них историю создания этой повести. Я согласилась тем более охотно, что это позволит мне ответить на вопрос, который так часто мне задают: как могла я, в тогдашнем своем юном возрасте, выбрать и развить столь жуткую тему? Я, правда, очень не люблю привлекать к себе внимание в печати; но поскольку мой рассказ будет всего лишь приложением к ранее опубликованному произведению и ограничится темами, касающимися только моего авторства, я едва ли могу обвинять себя в навязчивости.

Нет ничего удивительного в том, что я, дочь родителей, занимающих видное место в литературе, очень рано начала помышлять о сочинительстве. Я марала бумагу еще в детские годы, и любимым моим развлечением было «писать разные истории». Но была у меня и еще большая радость: возведение воздушных замков – грезы наяву, – когда я отдавалась течению мыслей, из которых сплетались воображаемые события. Эти грезы были фантастичнее и чудеснее моих писаний. В этих последних я рабски подражала другим – стремилась делать все, как у других, но не то, что подсказывало мое собственное воображение. Написанное предназначалось, во всяком случае, для одного читателя – подруги моего детства; а мои грезы принадлежали мне одной; я ни с кем не делилась ими; они были моим прибежищем в минуты огорчений, моей главной радостью в часы досуга.

Детство я большей частью провела в сельской местности и долго жила в Шотландии. Иногда я посещала более живописные части страны, но обычно жила на унылых и нелюдимых северных берегах Тэй, вблизи Данди. Сейчас, вспоминая о них, я назвала их унылыми и нелюдимыми; но тогда они не казались мне такими. Там было орлиное гнездо свободы, где ничто не мешало мне общаться с созданиями моего воображения. В ту пору я писала, но это были весьма прозаические вещи. Истинные мои произведения, где вольно взлетала моя фантазия, рождались под деревьями нашего сада или на крутых голых склонах соседних гор.

В героини моих повестей я никогда не избирала самое себя. Моя жизнь казалась мне чересчур обыденной. Я не мыслила себе, что на мою долю когда-либо выпадут романтические страдания и необыкновенные приключения; но я не замыкалась в границах собственной личности и населяла каждый час дня созданиями, которые в моем тогдашнем возрасте были мне куда интереснее моего собственного бытия.

Впоследствии моя жизнь заполнилась заботами, и место вымысла заняла действительность. Однако мой муж с самого начала очень желал, чтобы я оказалась достойной дочерью своих родителей и вписала свое имя на страницы литературной славы. Он постоянно побуждал меня искать литературной известности, да и сама я в ту пору желала ее, хотя потом она стала мне совершенно безразлична. Он желал, чтобы я писала, не столько потому, что считал меня способной написать что-либо заслуживающее внимания, но чтобы самому судить, обещаю ли я что-либо в будущем. Но я ничего не предпринимала. Переезды и семейные заботы заполняли все мое время; литературные занятия сводились для меня к чтению и к драгоценному для меня общению с его несравненно более развитым умом.

Летом 1816 года мы приехали в Швейцарию и оказались соседями лорда Байрона. Вначале мы проводили чудесные часы на озере или его берегах; лорд Байрон, в то время сочинявший 3-ю песнь «Чайльд Гарольда», был единственным, кто поверял свои мысли бумаге. Представая затем перед нами в светлом и гармоническом облачении поэзии, они, казалось, сообщали нечто божественное красотам земли и неба, которыми мы вместе с ним любовались.

Но лето оказалось дождливым и ненастным; непрерывный дождь часто по целым дням не давал нам выйти. В руки к нам попало несколько томов рассказов о привидениях в пере-

воде с немецкого на французский. Там была «Повесть о неверном возлюбленном», где герой, думая обнять невесту, с которой только что обручился, оказывается в объятиях бледного призрака той, которую когда-то покинул. Была там и повесть о грешном родоначальнике семьи, который был осужден обрекать на смерть своим поцелуем всех младших сыновей своего несчастного рода, едва они выходили из детского возраста. В полночь при неверном свете луны исполинская призрачная фигура, закованная в доспехи, подобно призраку в «Гамлете», но с поднятым забралом, медленно проходила по мрачной аллее парка. Сперва она исчезала в тени замковых стен; но вскоре скрипели ворота, слышались шаги, дверь спальни отворялась, и призрак приближался к ложу цветущих юношей, погруженных в сладкий сон. С невыразимой скорбью на лице он наклонялся, чтобы запечатлеть поцелуй на челе юношей, которые с того дня увядали, точно цветы, сорванные со стебля.

С тех пор я не перечитывала этих рассказов, но они так свежи в моей памяти, точно я прочла их вчера.

«Пусть каждый из нас сочинит страшную повесть», – сказал лорд Байрон, и это предложение было принято. Нас было четверо. Лорд Байрон начал повесть, отрывок из которой опубликовал в приложении к своей поэме «Мазепа». Шелли, которому лучше удавалось воплощать свои мысли и чувства в образах и звуках самых мелодичных стихов, какие существуют на нашем языке, чем сочинять фабулу рассказа, начал писать нечто, основанное на воспоминаниях своей первой юности. Бедняга Полидори придумал жуткую даму, у которой вместо головы был череп – в наказание за то, что она подглядывала в замочную скважину; не помню уж, что она хотела увидеть, но, наверное, нечто неподобающее; расправившись с ней, таким образом, хуже, чем поступили с пресловутым Томом из Ковентри, он не знал, что делать с нею дальше, и вынужден был отправить ее в семейный склеп Капулетти – единственное подходящее для нее место. Оба прославленных поэта, наскучив прозой, тоже скоро отказались от замысла, столь явно им чуждого.

А я решила сочинить повесть и потягаться с теми рассказами, которые подсказали нам нашу затею. Такую повесть, которая обращалась бы к нашим тайным страхам и вызывала нервную дрожь; такую, чтобы читатель боялся оглянуться назад, чтобы у него стыла кровь в жилах и громко стучало сердце. Если мне это не удастся, мой страшный рассказ не будет заслуживать своего названия. Я старалась что-то придумать, но тщетно. Я ощущала то полнейшее бессилие – худшую муку сочинителей, – когда усердно призываешь музу, а в ответ не слышишь ни звука. «Ну как, придумала?» – спрашивали меня каждое утро, и каждое утро, как ни обидно, я должна была отвечать отрицательно.

«Все имеет начало», говоря словами Санчо; но это начало, в свою очередь, к чему-то восходит. Индийцы считают, что мир держится на слоне, но слона они ставят на черепаху. Надо смиренно сознаться, что сочинители не создают своих творений из ничего, а всего лишь из хаоса; им нужен прежде всего материал; они могут придать форму бесформенному, но не могут рождать самую сущность. Все изобретения и открытия, не исключая открытий поэтических, постоянно напоминают нам о Колумбе и его яйце. Творчество состоит в способности почувствовать возможности темы и в умении сформулировать вызванные ею мысли.

Лорд Байрон и Шелли часто и подолгу беседовали, а я была их прилежным, но почти безмолвным слушателем. Однажды они обсуждали различные философские вопросы, в том числе секрет зарождения жизни и возможность когда-нибудь открыть его и воспроизвести. Они говорили об опытах доктора Дарвина (я не имею здесь в виду того, что доктор действительно сделал или уверяет, что сделал, но то, что об этом тогда говорилось, ибо только это относится к моей теме); он будто бы хранил в пробирке кусок вермишели, пока тот каким-то образом не обрел способности двигаться. Решили, что оживление материи пойдет иным путем. Быть может, удастся оживить труп; явление гальванизма, казалось, позволяло на это

надеяться; быть может, ученые научатся создавать отдельные органы, соединять их и вдыхать в них жизнь.

Пока они беседовали, подошла ночь; было уже за полночь, когда мы отправились на покой. Положив голову на подушки, я не заснула, но и не просто задумалась. Воображение властно завладело мной, наделяя являвшиеся мне картины яркостью, какой не обладают обычные сны. Глаза мои были закрыты, но я каким-то внутренним взором необычайно ясно увидела бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным им существом. Я увидела, как это отвратительное существо сперва лежало недвижно, а потом, повинуясь некоей силе, подало признаки жизни и неуклюже задвигалось. Такое зрелище страшно; ибо что может быть ужаснее человеческих попыток подражать несравненным творениям создателя? Мастер ужасается собственного успеха и в страхе бежит от своего создания. Он надеется, что зароненная им слабая искра жизни угаснет, если ее предоставить самой себе; что существо, оживленное лишь наполовину, снова станет мертвой материей; он засыпает в надежде, что могила навеки поглотит мимолетно оживший отвратительный труп, который он счел за вновь рожденного человека. Он спит, но что-то будит его; он открывает глаза и видит, что чудовище раздвигает занавеси у его изголовья, глядя на него желтыми, водянистыми, но осмысленными глазами.

Тут я сама в ужасе открыла глаза. Я так была захвачена своим видением, что вся дрожала и хотела вместо жуткого создания своей фантазии поскорее увидеть окружающую реальность. Я вижу ее как сейчас: комнату, темный паркет, закрытые ставни, за которыми, мне помнится, все же угадывались зеркальное озеро и высокие белые Альпы. Я не сразу прогнала ужасное наваждение; оно еще длилось. И я заставила себя думать о другом. Я обратилась мыслями к моему страшному рассказу – к злополучному рассказу, который так долго не получался!

О, если б я могла сочинить его так, чтобы заставить и читателя пережить тот же страх, какой пережила я в ту ночь!

И тут меня озарила мысль, быстрая как свет и столь же радостная: «Придумала! То, что напугало меня, напугает и других; достаточно описать призрак, явившийся ночью к моей постели».

Наутро я объявила, что сочинила рассказ. В тот же день я начала его словами: «Это было ненастной ноябрьской ночью», а затем записала свой ужасный сон наяву.

Сперва я думала уместить его на нескольких страницах; но Шелли убедил меня развить идею подробнее. Я не обязана моему мужу ни одним эпизодом, пожалуй, даже ни одной мыслью этой повести, и все же, если б не его уговоры, она не увидела бы света в своей нынешней форме. Сказанное не относится к предисловию. Насколько я помню, оно было целиком написано им.

И вот я снова посылаю в мир мое уродливое детище. Я питаю к нему нежность, ибо оно родилось в счастливые дни, когда смерть и горе были для меня лишь словами, не находившими отклика в сердце. Отдельные страницы напоминают о прогулках, поездках, беседах, когда я была не одна и когда моим спутником был человек, которого в этом мире я больше не увижу.

Это, впрочем, касается меня одной; читателям нет дела до моих воспоминаний.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

В Англию, м-с Сэвилл,

Санкт-Петербург, 11 дек. 17.

Ты порадуешься, когда услышишь, что предприятие, вызывавшее у тебя столь мрачные предчувствия, началось вполне благоприятно. Я прибыл сюда вчера и спешу прежде всего

заверить мою милую сестру, что у меня все благополучно и что я все более убеждаюсь в счастливом исходе моего дела.

Я нахожусь уже далеко к северу от Лондона; прохаживаясь по улицам Петербурга, я ощущаю на лице холодный северный ветер, который меня бодрит и радует. Поймешь ли ты это чувство? Ветер, доносящийся из краев, куда я стремлюсь, уже дает мне предвкусить их ледяной простор. Под этим ветром из обетованной земли мечты мои становятся живее и пламенней. Тщетно стараюсь я убедить себя, что полюс – это обитель холода и смерти; он предстает моему воображению как царство красоты и радости. Там, Маргарет, солнце никогда не заходит; его диск, едва подымаясь над горизонтом, излучает вечное сияние. Там – ибо ты позволишь мне хоть несколько доверять бывалым мореходам – кончается власть мороза и снега, и по волнам спокойного моря можно достичь страны, превосходящей красотой и чудесами все страны, донныне открытые человеком. Природа и богатства этой неизведанной страны могут оказаться столь же диковинными, как и наблюдаемые там небесные явления. Чего только нельзя ждать от страны вечного света! Там я смогу открыть секрет дивной силы, влекущей к себе магнитную стрелку; а также проверить множество астрономических наблюдений; одного такого путешествия довольно, чтобы их кажущиеся противоречия раз и навсегда получили разумное объяснение. Я смогу насытить свое жадное любопытство зрелищем еще никому не ведомых краев и пройти по земле, где еще не ступала нога человека. Вот что влечет меня – побеждая страх перед опасностью и смертью и наполняя меня перед началом трудного пути той радостью, с какой ребенок вместе с товарищами своих игр плывет в лодочке по родной реке, на открытие неведомого. Но если даже все эти надежды не оправдаются, ты не можешь отрицать, что я окажу неопределимую услугу человечеству, если хотя бы проложу северный путь в те края, куда ныне нужно плыть долгие месяцы, или открою тайну магнита, – ведь если ее вообще можно открыть, то лишь с помощью подобного путешествия.

Эти размышления развеяли тревогу, с которой я начал писать тебе, и наполнили меня возвышающим душу восторгом, ибо ничто так не успокаивает дух, как обретение твердой цели – точки, на которую устремляется наш внутренний взор. Эта экспедиция была мечтой моей юности. Я жадно зачитывался книгами о путешествиях, предпринятых в надежде достичь северной части Тихого океана по полярным морям. Ты, вероятно, помнишь, что истории путешествий и открытий составляли всю библиотеку нашего доброго дядюшки Томаса. Образованием моим никто не занимался; но я рано пристрастился к чтению. Эти тома я изучал днем и ночью и все более сожалел, что мой отец, как я узнал, еще будучи ребенком, перед смертью строго наказал моему дяде не пускать меня в море.

Мечты о море поблекли, когда я впервые познакомился с творениями поэтов, восхитившими мою душу и вознесшими ее к небесам. Я сам стал поэтом и целый год прожил в Эдеме, созданном моей фантазией. Я вообразил, что и мне суждено место в храме, посвященном Гомеру и Шекспиру. Тебе известна постигшая меня неудача и то, как тяжело я пережил это разочарование. Но как раз в то время я унаследовал состояние нашего кузена, и мысли мои вновь обратились к мечтам моего детства.

Вот уже шесть лет, как я задумал свое нынешнее предприятие. Я до сих пор помню час, когда решил посвятить себя этой великой цели. Прежде всего я начал закалять себя. Я сопровождал китоловов в северные моря; я добровольно подвергал себя холоду, голоду, жажде и недосыпанию. Днем я часто работал больше матросов, а по ночам изучал математику, медицину и те области физических наук, которые более всего могут понадобиться мореходу. Я дважды нанимался подшкипером на гренландские китобойные суда и отлично справлялся с делом. Должен признаться, что я почувствовал гордость, когда капитан предложил мне место своего первого помощника и долго уговаривал меня согласиться: так высоко он оценил мою службу.

А теперь скажи, милая Маргарет: неужели я не достоин свершить нечто великое? Моя жизнь могла бы пройти в довольстве и роскоши; но всем соблазнам богатства я предпочел славу. О, если б прозвучал для меня чей-нибудь ободряющий голос! Мужество и решение мои непоколебимы; но надежда и бодрость временами мне изменяют. Я отправляюсь в долгий и трудный путь, где потребуются вся моя стойкость. Мне надо будет не только поддерживать бодрость в других, но иногда и в себе, когда все остальные падут духом.

Сейчас лучшее время года для путешествия по России. Здешние сани быстро несутся по снегу; этот способ передвижения приятен и, по-моему, много удобнее английской почтовой кареты. Холод не страшен, если ты закутан в меха; такой одеждой я уже обзавелся, ибо ходить по палубе – совсем не то, что часами сидеть на месте, не согревая кровь движением. Я вовсе не намерен замерзнуть на почтовом тракте между Петербургом и Архангельском.

В последний из названных мной городов я отправлюсь через две-три недели и там думаю нанять корабль, а это легко сделать, уплатив за владельца страховую сумму; хочу также набрать нужное мне число матросов из тех, кто знаком с китоловным промыслом. Я думаю пуститься в плавание не раньше июня, а когда возвращусь? Ах, милая сестра, что могу я ответить на это? В случае удачи мы не увидимся много месяцев, а может, и лет. В случае неудачи ты увидишь меня скоро – или не увидишь никогда.

Прощай, моя милая, добрая Маргарет. Пусть бог благословит тебя и сохранит мне жизнь, чтобы я мог еще не раз отблагодарить тебя за твою любовь и заботу. Любящий тебя брат

Р. Уолтон.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

В Англию, м-с Сэвилл,

Архангельск, 28 марта 17.

Как долго тянется время для того, кто скован морозом и льдом! Однако я сделал еще один шаг к моей цели. Я нанял корабль и набираю матросов; те, кого я уже нанял, кажутся мне людьми надежными и, несомненно, отважными.

Мне не хватает лишь одного – не хватало всегда, но сейчас я ощущаю отсутствие этого как большое зло. У меня нет друга, Маргарет; никого, кто мог бы разделить со мною радость, если мне суждено счастье успеха; никого, кто поддержал бы меня, если я паду духом. Правда, я буду верить свои мысли бумаге; но она мало пригодна для передачи чувств. Мне нужно общество человека, который сочувствовал бы мне и понимал с полуслова. Ты можешь счесть меня излишне чувствительным, милая сестра, но я с горечью ощущаю отсутствие такого друга. Возле меня нет никого с душою чуткой и вместе с тем бесстрашной, с умом развитым и восприимчивым; нет друга, который разделял бы мои стремления, мог одобрить мои планы или внести в них поправки. Как много мог бы подобный друг сделать для исправления недостатков твоего бедного брата! Я излишне поспешен в действиях и слишком нетерпелив перед лицом препятствий. Но еще большим злом является то, что я учился самоучкою: первые четырнадцать лет моей жизни я гонял по полям и читал одни лишь книги о путешествиях из библиотеки нашего дядюшки Томаса. В этом возрасте я познакомился с прославленными поэтами моей страны; но слишком поздно убедился я в необходимости знать другие языки, кроме родного, – когда уже не мог извлечь из этого убеждения никакой истинной пользы. Сейчас мне двадцать восемь, а ведь я невежественнее многих пятнадцатилетних школьников. Правда, я больше их размышлял и о большем мечтаю; но этим мечтам недостает того, что художники называют «соотношением», и мне очень нужен друг, достаточно разумный, чтобы не презирать меня как пустого мечтателя, и достаточно любящий, чтобы мною руководить.

Впрочем, все эти жалобы бесполезны; какого друга могу я обрести на океанских просторах или даже здесь, в Архангельске, среди купцов и моряков? Правда, и им, при всей их внешней грубости, не чужды благородные чувства. Мой помощник, например, человек на редкость отважный и предприимчивый; он страстно жаждет славы, или, вернее сказать, преуспеяния на своем поприще. Он родом англичанин и при всех предрассудках своей нации и своего ремесла, не смягченных просвещением, сохранил немало благороднейших человеческих качеств. Я впервые встретил его на борту китобойного судна: узнав, что у него сейчас нет работы, я легко склонил его к участию в моем предприятии.

Капитан также отличный человек, выделяющийся среди всех мягкостью и кротостью в обращении. Именно эти свойства в сочетании с безупречной честностью и бесстрашием и привлекли меня. Моя юность, проведенная в уединении, мои лучшие годы, прошедшие под твоей нежной женской опекой, настолько смягчили мой характер, что я испытываю неодолимое отвращение к грубости, обычно царящей на судах; я никогда не считал ее необходимой. Услыхав о моряке, известном как сердечной добротой, так и умением заставить себя уважать и слушаться, я счел для себя большой удачей заполучить его. Я впервые услышал о нем при довольно романтических обстоятельствах от женщины, которая обязана ему своим счастьем. Вот вкратце его история. Несколько лет назад он полюбил русскую девушку из небогатой семьи. Когда он скопил изрядную сумму наградных денег, отец девушки согласился на их брак. Перед свадьбой он встретился со своей невестой; но она упала к его ногам, заливаясь слезами и прося пощадить ее; она призналась, что полюбила другого, а этот другой так беден, что отец ее никогда не даст согласия на брак. Мой великодушный друг успокоил ее и, справившись об имени ее возлюбленного, отступился от своих прав. На скопленные им деньги он успел уже купить дом и участок, рассчитывая поселиться там навсегда, – все это, вместе с остатками наградных денег, он отдал своему сопернику на обзаведение и сам испросил у отца девушки согласия на ее брак с любимым. Отец отказался, считая, что уже связан словом с моим другом; тогда тот, видя упорство старика, уехал и не возвращался до тех пор, пока девушка не вышла за избранника своего сердца. «Какое благородство!» – воскликнешь ты. Да, он именно таков, но при этом совершенно необразован, молчалив и угрюм, что, конечно, делает его поступок еще удивительнее, но вместе с тем уменьшает интерес и сочувствие, которые этот человек мог бы вызывать.

Но если я порой жалуясь и мечтаю о дружеской поддержке, которая мне, быть может, не суждена, не думай, что я колеблюсь в своем решении. Оно неизменно, как сама судьба; и плавание мое отложено лишь потому, что к этому нас вынуждает погода. Она была на редкость суровой; но весна обещает быть дружной и очень ранней; так что я, возможно, смогу отправиться в путь раньше, чем предполагал. Я ни в чем не хочу поступать опрометчиво; ты достаточно знаешь меня, чтобы быть уверенной в моей осмотрительности, когда мне вверена безопасность других.

Не могу описать тебе моих чувств при мысли о скором отплытии. Невозможно выразить трепетное чувство, радостное и вместе тревожное, с каким я готовлюсь в путь. Я отправляюсь в неведомые земли, в «края туманов и снегов», но я не намерен убивать альбатроса, поэтому не бойся за меня, – я не вернусь к тебе разбитым и больным, как «Старый мореход». Ты улыбнешься при этой аллюзии; но я открою тебе один секрет. Мою страстную тягу к опасным тайнам океана я часто приписывал влиянию этого творения наиболее поэтического из современных поэтов. В моей душе живет нечто непонятное мне самому. Я практичен и трудолюбив, я старательный и терпеливый работник, но вместе с тем во все мои планы вплетаются любовь к чудесному и вера в чудесное, увлекающие меня вдаль от проторенных дорог, в неведомые моря, в неоткрытые страны, которые я намерен исследовать.

Вернусь, однако, к вещам, более близким сердцу. Увижу ли я тебя вновь, когда перебеку безбрежные моря и вернусь назад мимо южной оконечности Африки или Америки? Не

смею ожидать такой удачи, но не хочу думать и о другом. Пиши мне при каждой возможности; быть может, письма твои дойдут до меня, когда будут всего нужнее, и поддержат во мне мужество. Люблю тебя нежно. Помни обо мне с любовью, если больше обо мне не услышишь. Любящий тебя брат

Роберт Уолтон.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

В Англию, м-с Сэвилл,

7 июля 17.

Дорогая сестра!

Пишу эти торопливые строки, чтобы сообщить, что я здоров и проделал немалый путь. Это письмо придет в Англию с торговым судном, которое сейчас отправляется из Архангельска; оно счастливее меня, который, быть может, еще много лет не увидит родных берегов. Тем не менее я бодр; мои люди отважны и тверды; их не страшат плавучие льдины, то и дело появляющиеся за бортом как предвестники ожидающих нас опасностей. Мы достигли уже очень высоких широт; но сейчас разгар лета, и южные ветры, быстро несущие нас к берегам, которых я так жажду достичь, хотя и менее теплы, чем в Англии, но все же веют теплом, какого я здесь не ждал.

До сих пор с нами не произошло ничего настолько примечательного, чтобы об этом стоило писать. Один-два шквала и пробоина в судне – все это такие события, которые не остаются в памяти опытных моряков; я буду рад, если с нами не приключится ничего хуже этого.

До свидания, милая Маргарет. Будь уверена, что ради тебя и себя самого я не помчусь безрассудно навстречу опасности. Я буду хладнокровен, упорен и благоразумен.

Но я все-таки добьюсь успеха. Почему бы нет? Я уже пролагаю путь в неизведанном океане; самые звезды являются свидетелями моего триумфа. Почему бы мне не пройти и дальше, в глубь непокоренной, но послушной стихии? Что может преградить путь отваге и воле человека?

Переполюняющие меня чувства невольно рвутся наружу; а между тем пора кончать. Да благословит небо мою милую сестру!

Р. У.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

В Англию, м-с Сэвилл,

5 августа 17.

С нами случилось нечто до того странное, что я должен написать тебе, хотя мы, быть может, увидимся раньше, чем ты получишь это письмо.

В прошлый понедельник (31 июля) мы вошли в область льда, который почти сомкнулся вокруг корабля, едва оставляя нам свободный проход. Положение наше стало опасным в особенности из-за густого тумана. Поэтому мы легли в дрейф, надеясь на перемену погоды.

Около двух часов дня туман рассеялся, и мы увидели простирившиеся во все стороны обширные поля неровного льда, которым, казалось, нет конца. У некоторых моих спутников вырвался стон, да и сам я ощутил тревогу; но тут наше внимание было привлечено странным зрелищем, заставившим нас забыть о своем положении. Примерно в полумиле от нас мы увидели низкие сани, запряженные собаками и мчавшиеся к северу; в санях, управляя собаками, сидело существо, подобное человеку, но гигантского роста. Мы следили в подзорные трубы за быстрым бегом саней, пока они не скрылись за ледяными холмами.

Это зрелище немало нас поразило. Мы полагали, что находимся на расстоянии многих сотен миль от какой бы то ни было земли; но увиденное, казалось, свидетельствовало, что

земля не столь уж далека. Скованные льдом, мы не могли следовать за санями, но внимательно их рассмотрели.

Часа через два после этого события мы услышали шум волн; к ночи лед вскрылся, и наш корабль был освобожден. Однако мы пролежали в дрейфе до утра, опасаясь столкнуться в темноте с огромными плавающими глыбами, которые появляются при вскрытии льда. Я воспользовался этими часами, чтобы отдохнуть.

Утром, едва рассвело, я поднялся на палубу и увидел, что все матросы столпились у борта, как видно, переговариваясь с кем-то, находившимся в море. Оказалось, что к кораблю на большой льдине прибило сани, похожие на виденные нами накануне. Из всей упряжки уцелела лишь одна собака, но в санях сидел человек, и матросы убеждали его подняться на борт. Это не был туземец с некоего неведомого острова, каким нам показался первый путник; это был европеец. Когда я вышел на палубу, боцман сказал: «Вот идет наш капитан, и он не допустит, чтобы вы погибли в море».

Увидев меня, незнакомец обратился ко мне по-английски, хотя и с иностранным акцентом. «Прежде чем я взойду на ваш корабль, – сказал он, – я прошу сообщить мне, куда он направляется».

Нетрудно вообразить мое изумление, когда я услышал подобный вопрос от погибающего, который, казалось бы, должен был считать мое судно спасительным пристанищем, самым дорогим сокровищем в мире. Я ответил, однако, что мы исследователи и направляемся к Северному полюсу.

Это, по-видимому, удовлетворило его, и он согласился взойти на борт. Великий боже! Если бы ты только видела, Маргарет, человека, которого еще пришлось уговаривать спастись, твоему удивлению не было бы границ. Он был сильно обморожен и до крайности истощен усталостью и лишениями. Никогда я не видел человека в столь жалком состоянии. Мы сперва отнесли его в каюту, но там, лишенный свежего воздуха, он тотчас же потерял сознание. Поэтому мы снова принесли его на палубу и привели в чувство, растирая коньяком; несколько глотков мы влили ему в рот. Едва он подал признаки жизни, мы завернули его в одеяла и положили возле кухонной трубы. Мало-помалу он пришел в себя и съел немного супу, который сразу его подкрепил.

Прошло два дня, прежде чем он смог заговорить, и я уже опасался, что страдания лишили его рассудка. Когда он немного оправился, я велел перенести его ко мне в каюту и сам ухаживал за ним, насколько позволяли мне мои обязанности. Никогда я не встречал более интересного человека; обычно взгляд его дик и почти безумен; но стоит кому-нибудь ласково обратиться к нему или оказать самую пустячную услугу, как лицо его озаряется, точно лучом, благостной улыбкой, какой я ни у кого не видел. Однако большей частью он бывает мрачен и подавлен; а порой скрипит зубами, словно не может более выносить бремя своих страданий.

Когда мой гость немного оправился, мне стоило больших трудов удерживать матросов, которые жаждали расспросить его; я не мог допустить, чтобы его донимали праздным любопытством, когда тело и дух его явно нуждались в полном покое. Однажды мой помощник все же спросил его, как он проделал столь длинный путь по льду, да еще в таком необычном экипаже?

Лицо незнакомца тотчас омрачилось, и он ответил:

– Я преследовал беглеца.

– А беглец путешествует тем же способом?

– Да.

– В таком случае мне думается, что мы его видели; накануне того дня, когда мы вас подобрали, мы заметили на льду собачью упряжку, а в санях – человека.

Это заинтересовало незнакомца, и он задал нам множество вопросов относительно направления, каким отправился демон, как он его назвал. Немного погодя, оставшись со мной наедине, он сказал:

– Я наверняка возбудил ваше любопытство; как, впрочем, и любопытство этих славных людей, но вы слишком деликатны, чтобы меня расспрашивать.

– Разумеется; бесцеремонно и жестоко было бы докучать вам расспросами.

– Но ведь вы вызволили меня из весьма опасного положения и заботливо возвратили к жизни.

Затем он спросил, не могли ли те, другие сани погибнуть при вскрытии льда. Я ответил, что наверное этого знать нельзя, ибо лед вскрылся лишь около полуночи и путник мог к тому времени добраться до какого-либо безопасного места.

С тех пор в изнуренное тело незнакомца влились новые силы. Он непременно хотел находиться на палубе и следить, не появятся ли знакомые нам сани. Однако я убедил его оставаться в каюте, ибо он слишком слаб, чтобы переносить мороз. Я пообещал, что мы сами последим за этим и немедленно сообщим ему, как только заметим что-либо необычное.

Вот что записано в моем судовом журнале об этом удивительном событии. Здоровье незнакомца поправляется, но он очень молчалив и обнаруживает тревогу, если в каюту входит кто-либо, кроме меня. Впрочем, он так кроток и вежлив в обращении, что все матросы ему сочувствуют, хотя и очень мало с ним общаются. Что до меня, то я уже люблю его, как брата; его постоянная, глубокая печаль несказанно огорчает меня. В свои лучшие дни он, должно быть, был благородным созданием, если и сейчас, когда дух его сломлен, он так привлекает к себе.

В одном из писем, милая Маргарет, я писал тебе, что навряд ли обрету друга на океанских просторах; и, однако ж, я нашел человека, которого был бы счастлив иметь своим лучшим другом, если б только его не сломило горе.

Я продолжу свои записи о незнакомце, когда будет что записать.

13 августа 17.

Моя привязанность к гостю растет с каждым днем. Он возбуждает одновременно безмерное восхищение и сострадание. Да и можно ли видеть столь благородного человека, сраженного бедами, не испытывая самой острой жалости? Он так кроток и, вместе, так мудр; он так широко образован; а когда говорит, речь его поражает и беглостью и свободой, хотя он выбирает слова с большой тщательностью.

Сейчас он вполне оправился от своего недуга и постоянно находится на палубе, видимо ожидая появления опередивших его саней. Хотя он и несчастен, но не настолько поглощен собственным горем, чтобы не проявлять живого интереса к нашим делам. Он нередко обсуждает их со мной, и я вполне ему доверился. Он внимательно выслушал все мои доводы в пользу моего предприятия и входит во все подробности принятых мною мер. Выказанное им участие подкупило меня, и я заговорил с ним языком сердца; высказал все, что переполняло мою душу, и горячо заверил его, что охотно пожертвовал бы состоянием, жизнью и всеми надеждами ради успеха задуманного дела. Одна человеческая жизнь – сходная цена за те познания, к которым я стремлюсь, за власть над исконными врагами человечества. При этих моих словах чело моего собеседника омрачилось. Сперва я заметил, что он пытается скрыть свое волнение: он закрыл глаза руками; но когда между его пальцев заструились слезы, а из груди вырвался стон, я не мог продолжать. Я умолк – а он заговорил прерывающимся голосом: «Несчастный! И ты, значит, одержим тем же безумием? И ты испил опьяняющего напитка? Так выслушай же меня; узнай мою повесть, и ты бросишь наземь чашу с ядом!»

Эти слова, как ты можешь себе представить, разожгли мое любопытство; но волнение, охватившее незнакомца, оказалось слишком сильным для его истощенного тела, и понадобились долгие часы отдыха и мирных бесед, прежде чем силы его восстановились.

Справившись со своими чувствами, он, казалось, презирал себя за то, что не совладал с собой. Преодолевая мрачное отчаяние, он вновь заговорил обо мне. Он пожелал услышать историю моей юности. Рассказ о ней не занял много времени, но навел нас на размышления. Я поведал ему, как страстно я желаю иметь друга, как жажду более близкого общения с родственной душой, чем до сих пор выпало мне на долю, и убежденно заявил, что без этого дара судьбы человек не может быть счастлив.

– Я с вами согласен, – отвечал незнакомец, – мы остаемся как бы незавершенными, пока некто более мудрый и достойный, чем мы сами, – а именно таким должен быть друг, – не поможет нам бороться с нашими слабостями и пороками. Я некогда имел друга, благороднейшего из людей, и потому способен судить о дружбе. У вас есть надежды, перед вами – весь мир, и вам нечего отчаиваться. А вот я – я все утратил и не могу начать жизнь снова.

При этих словах лицо его выразило тяжкое, неизбывное горе, тронувшее меня до глубины сердца. Но он не произнес более ни слова и удалился в свою каюту.

Даже сломленный духом, он, как никто, умеет чувствовать красоту природы. Звездное небо, океан и все ландшафты этих удивительных мест еще имеют над ним силу и способны возвышать его над земным. Такой человек ведет как бы двойную жизнь: он может страдать и сгибаться под тяжестью пережитого; но, уходя в себя, он уподобляется небесному духу; его ограждает сияние, и в этот волшебный круг нет доступа горю и злу.

Быть может, восторг, с каким я описываю чудесного странника, вызовет у тебя улыбку. Но это лишь потому, что ты его не видела. Книги и уединение возвысили твою душу и сделали тебя требовательной; но ты тем более способна оценить необыкновенные достоинства этого удивительного человека. Иногда я пытаюсь понять, какое именно качество так возвышает его над любым человеком, доньше мне встречавшимся. Мне кажется, что это – некая интуиция, способность быстрого, но безошибочного суждения; необычайно ясное и точное проникновение в причины вещей; добавь к этому редкий дар красноречия и голос, богатый чарующими модуляциями.

19 августа 17.

Вчера незнакомец сказал мне:

– Вы, должно быть, догадываетесь, капитан Уолтон, что я перенес неслыханные бедствия. Когда-то я решил, что память о них умрет вместе со мной, но вы заставили меня изменить мое решение. Так же, как и я в свое время, вы стремитесь к истине и познанию, и я горячо желаю, чтобы достижение цели не обернулось для вас злою бедой, как это случилось со мною. Не знаю, принесет ли вам пользу рассказ о моих несчастьях, но, видя, что вы идете тем же путем, подвергаете себя тем же опасностям, которые довели меня до нынешнего моего состояния, я полагаю, что из моей повести вы сумеете извлечь мораль, и притом такую, которая послужит вам руководством в случае успеха и утешением в неудаче. Приготовьтесь услышать рассказ, который может показаться неправдоподобным. Будь мы в более привычной обстановке, я опасался бы встретить у вас недоверие, быть может, даже насмешку; но в этих загадочных и суровых краях кажется возможным многое такое, что вызывает смех у не посвященных в тайны природы; не сомневаюсь к тому же, что мое повествование включает в себе самое доказательство своей истинности.

Можешь вообразить, как я обрадовался его предложению; но я не мог допустить, чтобы рассказом о своих несчастьях он бередил свои раны. Мне не терпелось услышать обещанную повесть отчасти из любопытства, но также из сильнейшего желания помочь ему, если б это оказалось в моих силах. Все эти чувства я выразил в своем ответе.

– Благодарю вас за сочувствие, – ответил он, – но оно бесполезно; судьба моя свершилась. Я жду лишь одного события – и тогда обрету покой. Я понимаю ваши чувства, – продолжал он, заметив, что я собираюсь прервать его, – но вы ошибаетесь, друг мой, если

мне позволено так называть вас; ничто не может изменить моей судьбы; выслушайте мой рассказ, и вы убедитесь, что она решена бесповоротно.

Свое повествование он пожелал начать на следующий день, в часы моего досуга. Я горячо поблагодарил его. Отныне каждый вечер, если не помешают мои обязанности, я буду записывать услышанное, стараясь как можно точнее придерживаться его слов. Если на это не хватит времени, я буду делать хотя бы краткие заметки. Эту рукопись ты, несомненно, прочтешь с интересом; но с еще большим интересом я когда-нибудь перечту ее сам, я, видевший его и слышавший повесть из собственных его уст! Вот и сейчас, когда я приступаю к записям, мне слышится его звучный голос, на меня печально и ласково глядят его блестящие глаза, я вижу выразительные движения его исхудалых рук и лицо, словно озаренное внутренним светом. Необычной и страшной была повесть его жизни; ужасна была буря, настигшая этот славный корабль и разбившая его.

Глава I

Я родился в Женеве; мои родные принадлежат к числу самых именитых граждан республики. Мои предки много лет были советниками и синдиками; отец также с честью отправлял ряд общественных должностей. Он пользовался уважением всех знавших его за честность и усердие на общественном поприще. Молодость его была всецело посвящена служению стране; некоторые обстоятельства помешали ему рано жениться, и он лишь на склоне лет стал супругом и отцом.

Обстоятельства его брака столь ярко рисуют его характер, что я должен о них пове­дать. Среди его ближайших друзей был один негоциант, который вследствие многочислен­ных неудач превратился из богатого человека в бедняка. Этот человек по фамилии Бофор обладал гордым и непреклонным нравом и не мог жить в нищете и забвении там, где прежде имел богатство и почет. Поэтому, честно расплатившись с кредиторами, он переехал со своей дочерью в Люцерн, где жил в бедности и уединении. Отец мой питал к Бофору самую пре­данную дружбу и был немало огорчен его отъездом при столь печальных обстоятельствах. Он горько сожалел о ложной гордости, подсказавшей его другу поступок, столь недостой­ный их дружбы. Он тотчас же принялся разыскивать Бофора, надеясь убедить его начать жизнь сначала и воспользоваться его поддержкой.

Бофор всячески постарался скрыть свое местопребывание, и отцу понадобилось целых десять месяцев, чтобы его отыскать. Обрадованный, он поспешил к его дому, находивше­муся в убогой улочке вблизи Рейсса. Но там он увидел отчаяние и горе. После крушения Бофору удалось сохранить лишь небольшую сумму денег, достаточную, чтобы кое-как пере­биться несколько месяцев; тем временем он надеялся получить работу в каком-нибудь тор­говом доме. Таким образом, первые месяцы прошли в бездействии. Горе его усугублялось, оттого что он имел время на размышления, и наконец так овладело им, что на исходе тре­тьего месяца он слег и уже ничего не мог предпринять.

Дочь ухаживала за ним с нежной заботливостью, но в отчаянии видела, что их скудные запасы быстро тают, а других источников не предвиделось. Однако Каролина Бофор была натурой незаурядной, и мужество не оставило ее в несчастье. Она стала шить, плести из соломки, и ей удавалось зарабатывать жалкие гроши, едва достаточные для поддержания жизни.

Так прошло несколько месяцев. Отцу ее становилось все хуже; уход за ним отнимал у нее почти все время; добывать деньги стало труднее; а на десятом месяце отец скончался на ее руках, оставив ее сиротой и нищей. Последний удар сразил ее; горько рыдая, она упала на колени у гроба Бофора; в эту самую минуту в комнату вошел мой отец. Он явился к бедной девушке как добрый гений, и она отдалась под его покровительство. Похоронив своего друга, он отвез ее в Женеву, поручив заботам своей родственницы. Два года спустя Каролина стала его женой.

Между моими родителями была значительная разница в возрасте, но это обстоятель­ство, казалось, еще прочнее скрепляло их нежный союз. Отцу моему было свойственно чув­ство справедливости; он не мыслил себе любви без уважения. Должно быть, в молодые годы он перестрадал, слишком поздно узнав, что предмет его любви был ее недостоин, и потому особенно ценил душевные качества, проверенные тяжкими испытаниями. В его чувстве к моей матери было благоговение и признательность, отнюдь не похожие на слепую старче­скую влюбленность; они были внушены восхищением перед ее достоинствами и желанием хоть немного вознаградить ее за перенесенные бедствия, что придавало удивительное благо­родство его отношению к ней. Все в доме подчинялось ее желаниям. Он берег ее, как садов­ник бережет редкостный цветок от каждого дуновения ветра, и окружал всем, что могло

приносить радость ее нежной душе. Пережитые беды расстроили ее здоровье и поколебали даже ее душевное равновесие. За два года, предшествовавшие их браку, отец постепенно сложил с себя все свои общественные обязанности; тотчас после свадьбы они отправились в Италию, где мягкий климат, перемена обстановки и новые впечатления, столь обильные в этой стране чудес, послужили ей укрепляющим средством.

Из Италии они поехали в Германию и Францию. Я, их первенец, родился в Неаполе и первые годы жизни сопровождал их в их странствиях. В течение нескольких лет я был их единственным ребенком. Как ни были они привязаны друг к другу, у них оставался еще неисчерпаемый запас любви, изливавшейся на меня. Нежные ласки матери, добрый взгляд и улыбки отца – таковы мои первые воспоминания. Я был их игрушкой и их божком, и еще лучше того – их ребенком, невинным и беспомощным созданием, посланным небесами, чтобы научить добру; они держали мою судьбу в своих руках, могли сделать счастливым или несчастным, смотря по тому, как они выполнят свой долг в отношении меня. При столь глубоком понимании своих обязанностей перед существом, которому они дали жизнь, при деятельной доброте, отличавшей их обоих, можно представить себе, что, хотя я в младенчестве ежечасно получал уроки терпения, милосердия и сдержанности, мной руководили так мягко, что все казалось мне удовольствием.

Долгое время я был главным предметом их забот. Моей матери очень хотелось иметь дочь, но я оставался их единственным отпрыском. Когда мне было лет пять, мои родители во время поездки за пределы Италии провели неделю на берегу озера Комо. Их доброта часто приводила их в хижины бедняков. Для моей матери это было больше чем простым долгом; в память о собственных страданиях и избавлении от них для нее стало потребностью и страстью в свою очередь являться страждущим как ангел-хранитель. Во время одной из прогулок их внимание привлекла одна особенно убогая хижина в долине, где было множество оборванных детей и все говорило о крайней нищете. Однажды, когда отец отправился в Милан, мать посетила это жилище, взяв с собой и меня. Там оказался крестьянин с женой, согбенные трудом и заботами; они делили скудные крохи между пятью голодными детьми. Одна девочка обратила на себя внимание моей матери; она казалась существом какой-то иной породы. Четверо других были черноглазые, крепкие маленькие оборвыши; а эта девочка была тоненькая и белокурая. Волосы ее были словно из чистого золота и, несмотря на убогую одежду, венчали ее, как корона. У нее был чистый лоб, ясные синие глаза, а губы и все черты лица так прелестны и нежны, что всякому, видевшему ее, она казалась созданием особенным, сошедшим с небес и отмеченным печатью своего небесного рождения.

Заметив, что моя мать с удивлением и восторгом смотрит на прелестную девочку, крестьянка поспешила рассказать нам ее историю. Это было не их дитя, а дочь одного миланского дворянина. Мать ее была немкой; она умерла при ее рождении. Ребенка отдали крестьянке, чтобы выкормить грудью; тогда семья была не так бедна. Они поженились незадолго до того, и у них только что родился первенец. Отец их питомицы был одним из итальянцев, помнивших о древней славе Италии; одним из *schiavi ognor frementi*¹, стремившихся добиться освобождения своей родины. Это его и погубило. Был ли он казнен или все еще томился в австрийской темнице – этого никто не знал. Имущество его было конфисковано, а дочь осталась сиротой и нищей. Она росла у своей кормилицы и расцветала в их бедном доме прекраснее, чем садовая роза среди темнолистого терновника.

Вернувшись из Милана, мой отец увидел в гостиной нашей виллы играющего со мной ребенка, более прелестного, чем херувим, – существо, словно излучавшее свет, а в движениях легкое, как горная серна. Ему объяснили, в чем дело. Получив его разрешение, мать уговорила крестьян отдать ей их питомицу. Они любили прелестную сиротку. Ее присут-

¹ Рабов, ежечасно ропшущих (*ит.*).

ствие казалось им небесным благословением, но жестоко было бы оставить ее в нужде, когда судьба посылала ей таких богатых покровителей. Они посоветовались с деревенским священником, и вот Элизабет Лавенца стала членом нашей семьи, моей сестрой и даже более – прекрасной и обожаемой подругой всех моих занятий и игр. Элизабет была общей любимицей. Я гордился горячей и почти благоговейной привязанностью, которую она внушала всем, и сам разделял ее. В день, когда она должна была переселиться в наш дом, моя мать шутливо сказала мне: «У меня есть для моего Виктора отличный подарок, завтра он его получит». Когда она наутро представила мне Элизабет в качестве обещанного подарка, я с детской серьезностью истолковал ее слова в буквальном смысле и стал считать Элизабет моей – порученной мне, чтобы я ее защищал, любил и лелеял. Все расточаемые ей похвалы я принимал как похвалы чему-то мне принадлежащему. Мы дружески звали друг друга кузеном и кузиной. Но никакое слово не могло бы выразить мое отношение к ней – она была мне ближе сестры и должна была стать моей навеки.

Глава II

Мы воспитывались вместе; разница в нашем возрасте была менее года, нечего и говорить, что ссоры и раздоры были нам чужды. В наших отношениях царила гармония, и самые различия в наших характерах только сближали нас. Элизабет была спокойнее и сдержаннее меня; зато я при всей моей необузданности обладал большим упорством в занятиях и неутолимой жадностью знаний. Ее пленяли воздушные замыслы поэтов; в величавых и роскошных пейзажах, окружавших наш швейцарский дом, – в волшебных очертаниях гор, в сменах времен года, в бурях и затишье, в безмолвии зимы и в неугомной жизни нашего альпийского лета, – она находила неисчерпаемый источник восхищения и радости. В то время как моя подруга сосредоточенно и удовлетворенно созерцала внешнюю красоту мира, я любил исследовать причины вещей. Мир представлялся мне тайной, которую я стремился постичь. В самом раннем детстве во мне проявлялись уже любознательность, упорное стремление узнать тайные законы природы и восторженная радость познания.

С рождением второго сына – спустя семь лет после меня – родители мои отказались от странствий и поселились на родине. У нас был дом в Женеве и дача на Бельрив, на восточном берегу озера, в расстоянии более лье от города. Мы обычно жили на даче; родители вели жизнь довольно уединенную. Мне также свойственно избегать толпы, но зато страстно привязываться к немногим. Я был поэтому равнодушен к школьным товарищам; однако с одним из них меня связывала самая тесная дружба. Анри Клерваль был сыном женевского негоцианта. Этот мальчик был наделен выдающимися талантами и живым воображением. Трудности, приключения и даже опасности влекли его сами по себе. Он был весьма начитан в рыцарских романах. Он сочинял героические поэмы и не раз начинал писать повести, полные фантастических и воинственных приключений. Он заставлял нас разыгрывать пьесы и устраивал переодевания; причем чаще всего мы изображали персонажей Ронсеваля, рыцарей Артурова Круглого стола и воинов, проливших кровь за освобождение Гроба Господня из рук неверных.

Ни у кого на свете не было столь счастливого детства, как у меня. Родители мои были воплощением снисходительности и доброты. Мы видели в них не тиранов, капризно управлявших нашей судьбой, а дарителей бесчисленных радостей. Посещая другие семьи, я ясно видел, какое редкое счастье выпало мне на долю, и признательность еще усиливала мою сыновнюю любовь.

Нрав у меня был необузданный, и страсти порой овладевали мной всецело; но так уж я был устроен, что этот пыл обращался не на детские забавы, а к познанию, причем не всего без разбора. Признаюсь, меня не привлекал ни строй различных языков, ни проблемы государственного и политического устройства. Я стремился познать тайны земли и неба; будь то внешняя оболочка вещей или внутренняя сущность природы и тайны человеческой души, мой интерес был сосредоточен на метафизических или – в высшем смысле этого слова – физических тайнах мира.

Клерваль, в отличие от меня, интересовался нравственными проблемами. Кипучая жизнь общества, людские поступки, доблестные деяния героев – вот что его занимало: его мечтой и надеждой было стать одним из тех отважных благодетелей человеческого рода, чьи имена сохраняются в анналах истории. Святая душа Элизабет озаряла наш мирный дом подобно алтарной лампаде. Вся любовь ее была обращена на нас; ее улыбка, нежный голос и небесный взор постоянно радовали нас и живили. В ней жил миротворный дух любви. Мои занятия могли бы сделать меня угрюмым, моя природная горячность – грубым, если бы ее не было рядом со мной, чтобы смягчать меня, передавая мне частицу своей кротости. А Клерваль? Казалось, ничто дурное не могло найти места в благородной душе Клерваля,

но даже он едва ли был бы так человечен и великодушен, так полон доброты и заботливости при всем своем стремлении к опасным приключениям, если бы она не открыла ему красоту деятельного милосердия и не поставила добро высшей целью его честолюбия.

Я с наслаждением задерживаюсь на воспоминаниях детства, когда несчастья еще не омрачили мой дух и светлое стремление служить людям не сменилось мрачными думами, сосредоточенными на одном себе. К тому же, рисуя картины моего детства, я повествую о событиях, незаметно приведших к последующим бедствиям; ибо, желая проследить зарождение страсти, подчинившей себе впоследствии мою жизнь, я вижу, что она, подобно горной реке, возникла из ничтожных и почти невидимых источников; разрастаясь по пути, она стала потоком, унесшим все мои надежды и радости.

Естественные науки стали моей судьбой; поэтому в своей повести я хочу указать обстоятельства, которые заставили меня предпочесть их всем другим наукам. Однажды, когда мне было тринадцать лет, мы всей семьей отправились на купанье куда-то возле Тонона. Дурная погода на целый день заперла нас в гостинице. Там я случайно обнаружил томик сочинений Корнелия Агриппы. Я открыл его равнодушно, но теория, которую он пытается доказать, и удивительные факты, о которых он повествует, скоро превратили равнодушие в энтузиазм. Меня словно озарил новый свет; я поспешил сообщить о своем открытии отцу. Тот небрежно взглянул на заглавный лист моей книги и сказал: «А, Корнелий Агриппа! Милый Виктор, не трать даром времени; все это чепуха».

Если бы вместо этого отец дал себе труд объяснить мне, что положения Агриппы были в свое время полностью опровергнуты и заменены новой научной системой, более основательной, – ибо мощь старой была призрачной, тогда как новая имеет под собой твердую почву реальности, – я, несомненно, отшвырнул бы Агриппу и насытил свое разгоряченное воображение, с новым усердием обратившись к школьным занятиям. Возможно даже, что мысли мои не получили бы рокового толчка, направившего меня к гибели. Но беглый взгляд, который отец бросил на книгу, не убедил меня, что он знаком с ее содержанием, и я продолжал читать ее с величайшей жадностью.

Вернувшись домой, я первым делом постарался достать полное собрание сочинений этого автора, а затем Парацельса и Альберта Великого. Я с наслаждением погрузился в их безумные вымыслы; книги их казались мне сокровищами, мало кому ведомыми, кроме меня. Я уже говорил, что всегда был одержим страстным стремлением познать тайны природы. Несмотря на неусыпный труд и удивительные открытия современных ученых, изучение их книг всегда оставляло меня неудовлетворенным. Говорят, сэр Исаак Ньютон признался, что чувствует себя ребенком, собирающим ракушки на берегу великого и неведомого океана истины. Те его последователи во всех областях естествознания, с которыми я был знаком, даже мне, мальчишке, казались новичками, занятыми тем же делом.

Невежественный поселянин созерцал окружающие его стихии и на опыте узнавал их проявления. Но ведь и самый ученый из философов знал немногим больше. Он лишь слегка приоткрыл завесу над ликом Природы, но ее бессмертные черты оставались дивом и тайной. Он мог анатомировать трупы и давать вещам названия; но он ничего не знал даже о вторичных и ближайших причинах явлений, не говоря уже о первичной. Я увидел укрепления, преграждавшие человеку вход в цитадель природы, и в своем невежестве и нетерпении возроптал против них.

А тут были книги, проникавшие глубже, и люди, знавшие больше. Я во всем поверил им на слово и сделался их учеником. Вам может показаться странным, как могло такое случиться в восемнадцатом веке; но дело в том, что, обучаясь в Женевской школе, я по части моих любимых предметов был почти что самоучкой. Отец мой не имел склонности к естественным наукам, и я был предоставлен самому себе; страсть исследователя сочеталась у меня с неведением ребенка. Под руководством моих новых наставников я с величайшим

усердием принялся за поиски философского камня и эликсира жизни; последний вскоре целиком завладел моим воображением. Богатство казалось мне вещью второстепенной; но какая слава ожидала меня, если б я нашел способ избавить человека от болезней и сделать его неуязвимым для любой смерти, кроме насильственной!

Я мечтал не только об этом. Мои любимые авторы охотно обещали обучить заклинанию духов и нечистой силы; и мне этого страстно хотелось; если мои заклинания неизменно оказывались тщетными, я приписывал это собственной неопытности или ошибке, но не смел сомневаться в учености или точности моих наставников. Итак, я посвятил некоторое время этим опровергнутым учениям, путая, как всякий невежда, множество противоречивших друг другу теорий, беспомощно барахтаясь среди разнообразных сведений, руководимый лишь пламенным воображением и детской логикой, когда неожиданный случай еще раз придал новое направление моим мыслям.

Когда мне пошел пятнадцатый год, мы переехали на нашу загородную дачу возле Бельрив и там стали свидетелями на редкость сильной грозы. Она пришла из-за горного хребта Юры; гром страшной силы загредел отовсюду сразу. Пока длилась гроза, я наблюдал ее с любопытством и восхищением. Стоя в дверях, я внезапно увидел, как из мощного старого дуба, росшего в каких-нибудь двадцати ярдах от дома, вырвалось пламя, а когда исчез этот слепящий свет, исчез и дуб, и на месте его остался один лишь обугленный пенек. Подойдя туда на следующее утро, мы увидели, что гроза разбила дерево необычным образом. Оно не просто расколосось от удара, но все расщепилось на узкие полоски. Никогда я не наблюдал столь полного разрушения.

Я и прежде был знаком с основными законами электричества. В тот день у нас гостил один известный естествоиспытатель. Случай с дубом побудил его изложить нам собственные свои соображения о природе электричества и гальванизма, которые были для меня и новы и удивительны. Все рассказанное им отодвинуло на задний план властителей моих дум – Корнелия Агриппу, Альберта Великого и Парацельса; но свержение этих идолов одновременно отбило у меня и охоту к обычным занятиям. Я решил, что никто и никогда не сможет ничего познать до конца. Все, что так долго занимало мой ум, вдруг показалось мне не стоящим внимания. Повинуясь одному из тех капризов, которые более свойственны ранней юности, я немедленно оставил свои занятия, объявил все отрасли естествознания бесплодными и проникся величайшим презрением к этой псевдонауке, которой не суждено даже переступить порога подлинного познания. В таком настроении духа я принялся за математику и смежные с нею науки, покоящиеся на прочном фундаменте, а потому достойные моего внимания.

Вот как странно устроен человек и какие тонкие грани отделяют нас от благополучия или гибели. Оглядываясь назад, я вижу, что эта почти чудом свершившаяся перемена склонностей была подсказана мне моим ангелом-хранителем; то была последняя попытка добрых сил отвести грозу, уже нависшую надо мной и готовую меня поглотить. Победа доброго начала сказалась в необыкновенном спокойствии и умиротворении, которые я обрел, отказавшись от прежних занятий, в последнее время ставших для меня мукой. Мне следовало бы тогда же почувствовать, что эти занятия для меня губительны и что мое спасение – в отказе от них.

Дух добра сделал все возможное, но тщетно. Рок был слишком могуществен, и его непреложные законы несли мне ужасную гибель.

Глава III

Когда я достиг семнадцати лет, мои родители решили определить меня в университет города Ингольштадта. Я учился в школе в Женеве, но для завершения моего образования отец счел необходимым, чтобы я ознакомился с иными обычаями, кроме отечественных. Уже назначен был день моего отъезда, но, прежде чем он наступил, в моей жизни произошло первое несчастье, словно предвещавшее все дальнейшие.

Элизабет заболела скарлатиной: она хворала тяжело, и жизнь ее была в опасности. Все пытались убедить мою мать остерегаться заразы. Сперва она послушалась наших уговоров; но, услышав об опасности, грозившей ее любимице, не могла удержаться. Она стала ходить за больной – ее неусыпная забота победила злой недуг, – Элизабет была спасена, но ее спасительница поплатилась за свою неосторожность. На третий день моя мать почувствовала себя плохо; появились самые тревожные симптомы, и по лицам врачей можно было прочесть, что дело идет к роковому концу. Но и на смертном одре стойкость и кротость не изменили этой лучшей из женщин. Она вложила руку Элизабет в мою. «Дети, – сказала она, – я всегда мечтала о вашем союзе. Теперь он должен служить утешением вашему отцу. Элизабет, любовь моя, тебе придется заменить меня моим младшим детям. О, как мне тяжело расставаться с вами! Я была счастлива и любима – каково мне покидать вас... Но это – недостойные мысли; я постараюсь примириться со смертью и утешиться надеждой на встречу с вами в ином мире».

Кончина ее была спокойной, и лицо ее даже в смерти сохранило свою кротость. Не стану описывать чувства тех, у кого беспощадная смерть отнимает любимое существо: пустоту, остающуюся в душе, и отчаяние, написанное на лице. Немало нужно времени, прежде чем рассудок убедит нас, что та, кого мы видели ежедневно и чья жизнь представлялась частью нашей собственной, могла уйти навсегда, – что могло навеки угаснуть сияние любимых глаз, навеки умолкнуть звуки знакомого, милого голоса. Таковы размышления первых дней; когда же ход времени подтверждает нашу утрату, тут-то и начинается истинное горе. Но у кого из нас жестокая рука не похищала близкого человека? К чему описывать горе, знакомое всем и для всех неизбежное? Наступает наконец время, когда горе перестает быть неодолимым, его уже можно обуздывать; и, хотя улыбка кажется нам кошунством, мы уже не гоним ее с уст. Мать моя умерла, но у нас оставались обязанности, которые надо было выполнять; надо было жить и считать себя счастливыми, пока у нас оставался хоть один человек, не сделавшийся добычей смерти.

Мой отъезд в Ингольштадт, отложенный из-за этих событий, был теперь решен снова. Но я выпросил у отца несколько недель отсрочки. Мне казалось кошунственным так скоро покинуть дом скорби, где царила почти могильная тишина, и окунуться в жизненную суету. Я впервые испытал горе, но оно испугало меня. Мне не хотелось покидать тех, кто мне оставался, и прежде всего хотелось хоть сколько-нибудь утешить мою дорогую Элизабет.

Правда, она скрывала свою печаль и старалась быть утешительницей для всех нас. Она смело взглянула в лицо жизни и мужественно взялась за свои обязанности. Она посвятила себя тем, кого давно звала дядей и братьями. Никогда не была она так прекрасна, как в это время, когда вновь научилась улыбаться, чтобы радовать нас. Стараясь развеять наше горе, она забывала о своем.

Наконец день моего отъезда наступил. Клерваль провел с нами последний вечер. Он пытался добиться от своего отца позволения ехать вместе со мной и поступить в тот же университет, но напрасно. Отец его был недалеким торгашом и в стремлениях сына видел лишь разорительные прихоти. Анри глубоко страдал от невозможности получить высшее

образование. Он был молчалив; но когда начинал говорить, я читал в его загоравшихся глазах сдерживаемую, но твердую решимость вырваться из плена коммерции.

Мы засиделись допоздна. Нам было трудно оторваться друг от друга и произнести слово «прощай». Наконец оно было сказано, и мы разошлись якобы на покой; каждый убеждал себя, что ему удалось обмануть другого; когда на утренней заре я вышел к экипажу, в котором должен был уехать, все собрались снова: отец – чтобы еще раз благословить меня, Клерваль – чтобы еще пожать мою руку, моя Элизабет – чтобы повторить свои просьбы писать почаще и еще раз окинуть своего друга заботливым женским взглядом.

Я бросился на сиденье экипажа, уносившего меня от них, и предался самым грустным раздумьям. Привыкший к обществу милых сердцу людей, неизменно внимательных друг к другу, я был теперь один. В университете, куда я направлялся, мне предстояло самому искать себе друзей и самому себя защищать. Жизнь моя до тех пор была уединенной и протекала всецело в домашнем кругу; это внушило мне непобедимую неприязнь к новым лицам. Я любил своих братьев, Элизабет и Клерваля; это были «милые, знакомые лица», и мне казалось, что я не смогу находиться среди чужих. Таковы были мои думы в начале пути; но вскоре я приободрился. Я страстно жаждал знаний. Дома мне часто казалось, что человеку обидно провести молодость в четырех стенах; мне хотелось повидать свет и занять место среди людей. Теперь желания мои сбывались, и сожалеть об этом было бы глупо.

Путь в Ингольштадт был долог и утомителен, и у меня оказалось довольно времени для этих и многих других размышлений. Наконец моим глазам предстали высокие белые шпили города. Я вышел из экипажа, и меня провели на мою одинокую квартиру, предоставив провести вечер, как мне заблагорассудится.

Наутро я вручил мои рекомендательные письма и сделал визиты некоторым из главных профессоров. Случай – а вернее, злой рок, Дух Гибели, взявший надо мною полную власть, едва я скрепя сердце покинул родительский кров, – привел меня сперва к господину Кремпе, профессору естественных наук. Это был грубоватый человек, но большой знаток своего дела. Он задал мне несколько вопросов с целью проэкзаменовать меня в различных областях естествознания. Я отвечал ему небрежно и с некоторым вызовом упомянул моих алхимиков в качестве главных авторов, которых я изучал. Профессор широко раскрыл глаза: «И вы в самом деле тратили время на эту чепуху?»

Я отвечал утвердительно. «Каждая минута, – с жаром сказал господин Кремпе, – каждая минута, потраченная на эти книги, целиком и безвозвратно потеряна вами. Вы обрели свою память опровергнутыми теориями и ненужными именами. Боже! В какой же пустыне вы жили, если никто не сообщил вам, что этим басням, которые вы так жадно поглощали, тысяча лет и что они успели заплесневеть? Вот уж не ожидал в наш просвещенный научный век встретить ученика Альберта Великого и Парацельса. Придется вам, сударь, заново начать все ваши занятия».

Затем он составил список книг по естествознанию, которые рекомендовал достать, и отпустил меня, сообщив, что со следующей недели начинает читать курс общего естествознания, а его коллега Вальдман по другим дням недели будет читать лекции по химии.

Я возвратился к себе не то чтобы разочарованный, ибо я и сам, как я уже говорил, давно считал бесполезными осужденные профессором книги; но я вообще не хотел больше заниматься этими предметами в каком бы то ни было виде. Г-н Кремпе был приземистый человек с резким голосом и уродливой внешностью; таким образом, и личность профессора не расположила меня к его науке. В общем, так сказать, философском смысле я уже говорил, к каким заключениям я пришел в юности относительно этой науки. Мое ребяческое любопытство не удовлетворялось результатами, какие сулит современное естествознание. В моей голове царил полная путаница, объясняемая только крайней молодостью и отсутствием руководства; я прошел вспять по пути науки и открытиям моих современников

предпочел грезы давно позабытых алхимиков. К тому же я чувствовал презрение к утилитарности современной науки. Иное дело, когда ученые искали секрет бессмертия и власти; то были великие, хотя и тщетные стремления; теперь же все обстояло иначе. Нынешний ученый, казалось, ограничивался задачей опровергнуть именно те видения, которые больше всего привлекали меня к науке. От меня требовалось сменить величественные химеры на весьма мизерную реальность.

Так размышлял я в первые два-три дня по прибытии в Ингольштадт, которые я посвятил главным образом знакомству с городом и с новыми соседями. Но на следующей неделе я вспомнил о лекциях, упомянутых г-ном Кремпе. Хотя я и не желал идти слушать, как будет вещать с кафедры этот самоуверенный человек, я вспомнил, что он говорил мне о г-не Вальдмане, которого я еще не видел, ибо его не было в городе.

Частью из любопытства, а частью от нечего делать я пришел в аудиторию, куда вскоре явился г-н Вальдман. Этот профессор был очень непохож на своего коллегу. Ему было на вид лет пятьдесят, и лицо его выражало величайшую доброту; на висках волосы его начинали седеть, но на затылке были совершенно черные. Роста он был небольшого, однако держался необыкновенно прямо, а такого благозвучного голоса я еще никогда не слышал. Свою лекцию он начал с обзора истории химии и сделанных в ней открытий, с благоговением называя имена наиболее выдающихся ученых. Затем он вкратце изобразил современное состояние своей науки и разъяснил основные ее термины. Показав несколько предварительных опытов, он в заключение произнес хвалу современной химии в выражениях, которые я никогда не забуду.

– Прежние преподаватели этой науки, – сказал он, – обещали невозможное, но не свершили ничего. Нынешние обещают очень мало; они знают, что превращение металлов немислимо, а эликсир жизни – несбыточная мечта. Но именно эти ученые, которые, казалось бы, возятся в грязи и корпят над микроскопом и тигелем, именно они и совершили истинные чудеса. Они прослеживают природу в ее сокровенных тайниках. Они поднимаются в небеса; они узнали, как обращается в нашем теле кровь и из чего состоит воздух, которым мы дышим. Они приобрели новую и почти безграничную власть; они повелевают небесным громом, могут воспроизвести землетрясение и даже бросают вызов невидимому миру.

Таковы были слова профессора, вернее, слова судьбы, произнесенные на мою погибель. По мере того как он говорил, я чувствовал, что схватился наконец с достойным противником; он затрагивал одну за другой сокровенные фибры моей души, заставлял звучать струну за струною, и скоро я весь был полон одной мыслью, одной целью. Если столько уже сделано – восклицала душа Франкенштейна, – я сделаю больше, много больше; идя по проложенному пути, я вступлю затем на новый, открою не изведенные еще силы и приобщу человечество к глубочайшим тайнам природы.

В ту ночь я не сомкнул глаз. Все в моей душе бурно кипело; я чувствовал, что из этого возникнет новый порядок, но не имел сил сам его навести. Сон снизошел на меня лишь на рассвете. Когда я проснулся, ночные мысли представились мне каким-то сновидением. Осталось только решение возвратиться к прежним занятиям и посвятить себя науке, к которой я имел, как мне казалось, врожденный дар. В тот же день я посетил г-на Вальдмана. В частной беседе он был еще обаятельней, чем на кафедре; некоторая торжественность, замечная в нем во время лекций, в домашней обстановке сменилась непринужденной приветливостью и добротой. Я рассказал ему о своих занятиях почти то же, что уже рассказывал его коллеге. Он внимательно выслушал мою краткую повесть и улыбнулся при упоминании о Корнелии Агриппе и Парацельсе, однако без того презрения, какое обнаружил г-н Кремпе. Он сказал, что «неутомимому усердию этих людей современные ученые обязаны многими основами своих знаний. Они оставили нам задачу более легкую: дать новые наименования и расположить в строгом порядке факты, впервые обнаруженные с их помощью. Труд гениев,

даже ложно направленный, почти всегда в конечном итоге служит на благо человечества». Я выслушал эти замечания, высказанные без малейшей аффектации или самонадеянности, и сказал, что его лекция уничтожила мое предубеждение против современных химиков; я говорил сдержанно, со всей скромностью и почтительностью, подобающей юнцу в беседе с наставником, и ничем не выдал, стыдясь проявить свою житейскую неопытность, энтузиазма, с каким готовился взяться за дело. Я спросил его совета относительно нужных мне книг.

– Я счастлив, – сказал г-н Вальдман, – что приобрел ученика, и если ваше прилежание равно вашим способностям, то я не сомневаюсь в успехе. В химии, как ни в одной другой из естественных наук, сделаны и еще будут сделаны величайшие открытия. Вот почему я избрал ее, не пренебрегая вместе с тем и другими науками. Плох тот химик, который не интересуется ничем, кроме своего предмета. Если вы желаете стать настоящим ученым, а не рядовым экспериментатором, я советую вам заняться всеми естественными науками, не забыв и о математике.

Затем он провел меня в свою лабораторию и объяснил назначение различных приборов; сказал, какие из них мне следует достать, и пообещал давать в пользование свои собственные, когда я настолько продвинусь в науке, чтобы их не испортить. Он вручил мне также список книг, о котором я просил, и я откланялся.

Так окончился этот памятный для меня день; он решил мою судьбу.

Глава IV

С того дня естествознание, и особенно химия, в самом широком смысле слова, стало почти единственным моим занятием. Я усердно читал талантливые и обстоятельные сочинения современных ученых. Я слушал лекции и знакомился с университетскими профессорами и даже в г-не Кремпе обнаружил немало здравого смысла и знаний, правда сочетавшихся с отталкивающей физиономией и манерами, но оттого не менее ценных. В лице г-на Вальдмана я обрел истинного друга. Его заботливость никогда не отзывала нравоучительностью; свои наставления он произносил с искренним добродушием, чуждым всякого педантизма. Он бесчисленными способами облегчал мне путь к знанию и самые сложные понятия умел сделать легкими и доступными. Мое прилежание, поначалу неустойчивое, постепенно окрепло, и вскоре я стал работать с таким рвением, что утренний свет, гасивший звезды, часто заставлял меня в лаборатории.

При таком упорстве я, разумеется, сделал большие успехи. Я поражал студентов своим усердием, а наставников – познаниями. Профессор Кремпе не раз с лукавой усмешкой спрашивал меня, как поживает Корнелий Агриппа, а г-н Вальдман выражал по поводу моих успехов самую искреннюю радость. Так прошло два года, и за это время я ни разу не побывал в Женеве, всецело предавшись занятиям, которые, как я надеялся, приведут меня к научным открытиям. Только те, кто испытал это, знают неодолимую притягательность научного исследования. Во всех прочих занятиях вы лишь идете путем, которым до вас прошли другие, ничего вам не оставив; тогда как здесь вы непрерывно что-то открываете и изумляетесь. Даже человек средних способностей, упорно занимаясь одним предметом, непременно достигнет в нем глубоких познаний; поставив себе одну-единственную цель и полностью ей отдавшись, я добился таких успехов, что к концу второго года придумал некоторые усовершенствования в химической аппаратуре, завоевавшие мне в университете признание и уважение. Вот тогда-то, усвоив из теории и практики естествознания все, что могли мне дать ингольштадтские профессора, я решил вернуться в родные места; но тут произошли события, продлившие мое пребывание в Ингольштадте.

Одним из предметов, особенно занимавших меня, было строение человеческого и вообще любого живого организма. Где, часто спрашивал я себя, таится жизненное начало? Вопрос смелый и всегда считавшийся загадкой; но мы стоим на пороге множества открытий, и единственной помехой является наша робость и леность. Размышляя над этим, я решил особенно тщательно изучать физиологию. Если бы не моя одержимость, эти занятия были бы тягостны и почти невыносимы. Для исследования причины жизни мы вынуждены обращаться сперва к смерти. Я изучил анатомию, но этого было мало; необходимо было наблюдать процесс естественного распада и гниения тела. Воспитывая меня, отец принял все меры к тому, чтобы в мою душу не закрался страх перед сверхъестественным. Я не помню, чтобы когда-нибудь трепетал, слушая суеверные рассказы, или страшился призраков. Боязнь темноты была мне неведома, а кладбище представлялось лишь местом упокоения мертвых тел, которые из обиталищ красоты и силы сделались добычей червей. Теперь мне предстояло изучить причины и ход этого разложения и проводить дни и ночи в склепах. Я сосредоточил свое внимание на явлениях, наиболее оскорбительных для наших чувств. Я увидел, чем становится прекрасное человеческое тело; я наблюдал, как превращается в тлен его цветущая красота; я увидел, как все, что радовало глаз и сердце, достается в пищу червям. Я исследовал причинные связи перехода от жизни к смерти и от смерти к жизни, как вдруг среди полной тьмы блеснул внезапный свет – столь ослепительный и вместе с тем ясный, что я, потрясенный открывшимися возможностями, мог только дивиться, почему после стольких гениальных людей, изучавших этот предмет, именно мне выпало открыть великую тайну.

Напомню, что эта повесть – не бред безумца. Все, что я рассказываю, так же истинно, как солнце на небесах. Быть может, тут действительно свершилось чудо, но путь к нему был вполне обычным. Ценою многих дней и ночей нечеловеческого труда и усилий мне удалось постичь тайну зарождения жизни; более того – я узнал, как самому оживлять безжизненную материю.

Изумление, охватившее меня в первые минуты, скоро сменилось безумным восторгом. После стольких трудов достичь предела своих желаний – в этом была для меня величайшая награда. Мое открытие было столь ошеломляющим, что ход мысли, постепенно приведший меня к нему, изгладился из моей памяти, и я видел один лишь конечный результат. Я держал в руках то, к чему стремились величайшие мудрецы от начала времен. Нельзя сказать, что все открылось мне сразу, точно по волшебству; то, что я узнал, могло служить руководством к заветной цели; но сама цель еще не была достигнута. Я был подобен арабу, погребенному вместе с мертвецами и увидавшему выход из склепа при свете единственной слабо мерцавшей свечи.

По вашим глазам, загоревшимся удивлением и надеждой, я вижу, что вы, мой друг, жаждете узнать открытую мной тайну; этого не будет – выслушайте меня терпеливо до конца, и вы поймете, почему на этот счет я храню молчание. Я не хочу, чтобы вы, неосторожный и пылкий, как я сам был тогда, шли на муки и верную гибель. Пускай не наставления, а мой собственный пример покажет вам, какие опасности таит в себе познание и насколько тот, для кого мир ограничен родным городом, счастливей того, кто хочет вознестись выше поставленных природой пределов.

Получив в свои руки безмерную власть, я долго раздумывал, как употребить ее наилучшим образом. Я знал, как оживить безжизненное тело, но составить такое тело, во всей сложности нервов, мускулов и сосудов, оставалось задачей невероятно трудной. Я колебался, создать ли себе подобного или же более простой организм; но успех вскружил мне голову, и я не сомневался, что сумею вдохнуть жизнь даже в существо столь удивительное и сложное, как человек. Материалы, бывшие в моем распоряжении, казались недостаточными для этой трудной задачи, но я не сомневался в конечном успехе. Я заранее приготовился к множеству трудностей; к тому, что помехи будут возникать непрестанно, а результат окажется несовершенным; но, памятуя о ежедневных достижениях техники и науки, я надеялся, что мои попытки хотя бы заложат основание для будущих успехов. Сложность и дерзость моего замысла также не казались мне доводом против него. С этими мыслями я приступил к сотворению человеческого существа. Поскольку сбор мельчайших частиц очень замедлил бы работу, я отступил от своего первоначального замысла и решил создать гиганта – около восьми футов ростом и соответственно мощного сложения. Приняв это решение и затратив несколько месяцев на сбор нужных материалов, я принялся за дело.

Никому не понять сложных чувств, увлекавших меня, подобно вихрю, в эти дни опьянения успехом. Мне первому предстояло преодолеть грань жизни и смерти и озарить наш темный мир ослепительным светом. Новая порода людей благословит меня как своего создателя; множество счастливых и совершенных существ будут обязаны мне своим рождением. Ни один отец не имеет столько прав на признательность ребенка, как буду иметь я. Раз я научился оживлять мертвую материю, рассуждал я, со временем (хотя сейчас это было для меня невозможно) я сумею также давать вторую жизнь телу, которое смерть уже обрекла на исчезновение.

Эти мысли поддерживали мой дух, пока я с неослабным рвением отдавался работе. Щеки мои побледнели, а тело исхудало от затворнической жизни. Бывало, что я терпел неудачу на самом пороге успеха, но продолжал верить, что он может прийти в любой день и час. Тайна, которой владел я один, стала смыслом моей жизни, и ей я посвятил себя всецело. Ночами при свете месяца я неутомимо и неустанно выслеживал природу в самых сокровен-

ных ее тайниках. Как рассказать об ужасах этих ночных бдений, когда я рылся в могильной плесени или терзал живых тварей ради оживления мертвой материи? Сейчас при воспоминании об этом я дрожу всем телом, а глаза мои застилает туман; но в ту пору какое-то безудержное исступление влекло меня вперед. Казалось, я утратил все чувства и видел лишь одну свою цель. То была временная одержимость; все чувства воскресли во мне с новой силой, едва она миновала, и я вернулся к прежнему образу жизни. Я собирал кости в склепах; я кощунственной рукой вторгался в сокровеннейшие уголки человеческого тела. Свою мастерскую я устроил в уединенной комнате, вернее, чердаке, отделенном от всех других помещений галереей и лестницей; иные подробности этой работы внушали мне такой ужас, что глаза мои едва не вылезали из орбит. Бойня и анатомический театр поставляли мне большую часть моих материалов; и я часто содрогался от отвращения, но, подгоняемый все возрастающим нетерпением, все же вел работу к концу.

За этой работой, поглотившей меня целиком, прошло все лето. В тот год лето стояло прекрасное: никогда поля не приносили более обильной жатвы, а виноградники – лучшего сбора; но красоты природы меня не трогали. Та же одержимость, которая делала меня равнодушным к внешнему миру, заставила меня позабыть и друзей, оставшихся так далеко и не виденных так давно. Я понимал, что мое молчание тревожит их, и помнил слова отца: «Знаю, что, пока ты доволен собой, ты будешь вспоминать нас с любовью и писать нам часто. Прости, если я сочту твое молчание признаком того, что ты пренебрег и другими своими обязанностями».

Таким образом, я знал, что должен был думать обо мне отец, и все же не мог оторваться от занятий, которые, как они ни были сами по себе отвратительны, захватили меня целиком. Я словно отложил все, что касалось моих привязанностей, до завершения великого труда, подчинившего себе все мое существо.

Я считал тогда, что отец несправедлив ко мне, объясняя мое молчание разгульной жизнью и ленью; но теперь я убежден, что он имел основания подозревать нечто дурное. Совершенный человек всегда должен сохранять спокойствие духа, не давая страсти или мимолетным желанием возмущать этот покой. Я полагаю, что и труд ученого не составляет исключения. Если ваши занятия ослабляют в вас привязанности или отвращают вас от простых и чистых радостей, значит, в этих занятиях наверняка есть нечто не подобающее человеку. Если бы это правило всегда соблюдалось и человек никогда не жертвовал бы любовью к близким ради чего бы то ни было, Греция не попала бы в рабство, Цезарь пощадил бы свою страну, освоение Америки было бы более постепенным, а государства Мексики и Перу не подверглись бы разрушению.

Однако я принялся рассуждать в самом интересном месте моей повести, и ваш взгляд призывает меня продолжать ее.

Отец в своих письмах не упрекал меня и только подробней, чем прежде, осведомлялся о моих занятиях. Прошли зима, весна и лето, пока я был занят своими трудами, но я не любовался цветами и свежими листьями, прежде всегда меня восхищавшими, – настолько я был поглощен работой. Листья успели увянуть, прежде чем я ее завершил; и теперь я с каждым днем убеждался в полном своем успехе. Однако к восторгу примешивалась и тревога, и я больше походил на раба, томящегося в рудниках или ином гиблом месте, чем на творца, занятого любимым делом. По ночам меня лихорадило, а нервы были болезненно напряжены; я вздрагивал от шороха падающего листа и избегал людей, словно имел на совести преступление. Иногда я пугался, видя, что превращаюсь в развалину; меня поддерживало только мое стремление к цели; труд мой подвигался к концу, и я надеялся, что прогулки и развлечения предотвратят начинающуюся болезнь; все это я обещал себе, как только работа будет окончена.

Глава V

Однажды ненастной ноябрьской ночью я узрел завершение моих трудов. С мучительным волнением я собрал все необходимое, чтобы зажечь жизнь в бесчувственном создании, лежавшем у моих ног. Был час пополуночи; дождь уныло стучал в оконное стекло; свеча почти догорела; и вот при ее неверном свете я увидел, как открылись тусклые желтые глаза; существо начало дышать и судорожно подергиваться.

Как описать мои чувства при этом ужасном зрелище, как изобразить несчастного, созданного мною с таким невероятным трудом? А между тем члены его были соразмерны, и я подобрал для него красивые черты. Красивые – боже великий! Желтая кожа слишком туго обтягивала его мускулы и жилы; волосы были черные, блестящие и длинные, а зубы белые как жемчуг; но тем страшнее был их контраст с водянистыми глазами, почти неотличимыми по цвету от глазниц, с сухой кожей и узкой прорезью черного рта.

Нет в жизни ничего переменчивее наших чувств. Почти два года я трудился с единственной целью – вдохнуть жизнь в бездыханное тело. Ради этого я лишил себя покоя и здоровья. Я желал этого с исступленной страстью; а теперь, когда я окончил свой труд, вся прелесть мечты исчезла, и сердце мое наполнилось несказанным ужасом и отвращением. Не в силах вынести вида своего творения, я кинулся вон из комнаты и долго шагал по своей спальне, чувствуя, что не смогу заснуть. Наконец мое волнение сменилось усталостью, и я, одетый, бросился на постель, надеясь ненадолго забыться. Но напрасно; мне, правда, удалось заснуть, но я увидел во сне кошмар: прекрасная и цветущая Элизабет шла по улице Ингольштадта. Я в восхищении обнял ее, но едва успел запечатлеть поцелуй на ее губах, как они помертвели, черты ее изменились, и вот уже я держу в объятиях труп моей матери; тело ее окутано саваном, и в его складках копошатся могильные черви. Я в ужасе проснулся; на лбу у меня выступил холодный пот, зубы стучали, и все тело свела судорога; и тут в мутном желтом свете луны, пробивавшемся сквозь ставни, я увидел гнусного урода, сотворенного мной. Он приподнял полог кровати; глаза его, если можно назвать их глазами, были устремлены на меня. Челюсти его двигались, и он издавал непонятные звуки, растягивая рот в улыбку.

Он, кажется, говорил, но я не слышал; он протянул руку, словно удерживая меня, но я вырвался и побежал вниз по лестнице. Я укрылся во дворе нашего дома и там провел остаток ночи, расхаживая взад и вперед в сильнейшем волнении, настораживая слух и пугаясь каждого звука, словно возвещавшего приближение отвратительного существа, в которое я вдохнул жизнь.

На него невозможно было смотреть без содрогания. Никакая мумия, возвращенная к жизни, не могла быть ужаснее этого чудовища. Я видел свое творение неоконченным; оно и тогда было уродливо; но когда его суставы и мускулы пришли в движение, получилось нечто более страшное, чем все вымыслы Данте.

Я провел ужасную ночь. Временами пульс мой бился так быстро и сильно, что я ощущал его в каждой артерии, а порой я готов был упасть от слабости. К моему ужасу примешивалась горечь разочарования; то, о чем я так долго мечтал, теперь превратилось в мучение; и как внезапна и непоправима была эта перемена!

Наконец забрезжил день, угрюмый и ненастный, и моим глазам, воспаленным от бессонницы, предстала ингольштадтская церковь с белым шпилем и часами, которые показывали шесть. Привратник открыл ворота двора, служившего мне в ту ночь прибежищем; я вышел на улицу и быстро зашагал, словно желая избежать встречи, которой боялся на каждом повороте. Я не решался вернуться к себе на квартиру; что-то гнало меня вперед, хотя я насквозь промок от дождя, лившего с мрачного черного неба.

Так я шел некоторое время, стремясь усиленным физическим движением облегчить душевную муку. Я проходил по улицам, не отдавая себе ясного отчета, где я и что делаю. Сердце мое трепетало от мучительного страха, и я шагал неровным шагом, не смея оглянуться назад.

Так одинокий пешеход,
Чье сердце страх гнетет,
Назад не смотрит и спешит,
И смотрит лишь вперед,
И знает, знает, что за ним
Ужасный враг идет².

Незаметно я дошел до постоянного двора, куда обычно приезжали дилижансы и кареты. Здесь я остановился, сам не зная зачем, и несколько минут смотрел на почтовую карету, показавшуюся в другом конце улицы. Когда она приблизилась, я увидел, что это был швейцарский дилижанс; он остановился прямо подле меня, дверцы открылись, и появился Анри Клерваль, который, завидя меня, тотчас выскочил из экипажа.

– Милый Франкенштейн, – воскликнул он, – как я рад тебя видеть! Как удачно, что ты оказался здесь к моему приезду.

Ничто не могло сравниться с моей радостью при виде Клерваля; его появление напомнило мне об отце, Элизабет и милых радостях домашнего очага. Я сжал его руку и тотчас забыл свой ужас и свою беду, – впервые за много месяцев я ощутил светлую и безмятежную радость. Я сердечно приветствовал своего друга, и мы вместе направились к моему колледжу. Клерваль рассказывал о наших общих друзьях и радовался, что ему разрешили приехать в Ингольштадт.

– Ты можешь себе представить, – сказал он, – как трудно было убедить моего отца, что не все нужные человеку знания заключены в благородном искусстве бухгалтерии; думаю, что он так и не поверил мне до конца, ибо на мои неустанные просьбы каждый раз отвечал то же, что голландский учитель в «Векфильдском священнике»: «Мне платят десять тысяч флоринов в год – без греческого языка; я ем-пью без всякого греческого языка». Однако его любовь ко мне все же преодолела нелюбовь к наукам, и он разрешил мне предпринять путешествие в страну знания.

– Я безмерно рад тебя видеть, но скажи мне, как поживают мой отец, братья и Элизабет?

– Они здоровы, и все у них благополучно; их только беспокоит, что ты так редко им пишешь. Кстати, я сам хотел пробрать тебя за это. Но, дорогой мой Франкенштейн, – прибавил он, внезапно останавливаясь и вглядываясь в мое лицо, – я только сейчас заметил, что у тебя совершенно больной вид; ты худ и бледен и выглядишь так, точно не спал несколько ночей.

– Ты угадал. Я очень усердно занимался одним делом и мало отдыхал, как видишь; но я надеюсь, что теперь с этим покончено и я свободен.

Я весь дрожал; я не мог даже подумать, не то что рассказывать о событиях минувшей ночи. Я прибавил шагу, и мы скоро пришли к моему колледжу. Тут я сообразил – и мысль эта заставила меня содрогнуться, – что существо, оставшееся у меня на квартире, могло быть еще там. Я боялся увидеть чудовище, но еще больше боялся, что его может увидеть Анри. Попросив его подождать несколько минут внизу, я быстро взбежал по лестнице. Моя рука потянулась уже к ручке двери, и только тут я опомнился. Я медлил войти; холодная дрожь

² Перевод В. Левика.

пронизывала меня с головы до ног. Потом я резко распахнул дверь, как делают дети, ожидая увидеть привидение; за дверью никого не было. Я со страхом вошел в комнату, но она была пуста; ужасного гостя не было и в спальне. Я едва решался верить такому счастью, но, когда убедился, что мой враг действительно исчез, я радостно всплеснул руками и побежал за Клервалем.

Мы поднялись ко мне в комнату, и скоро слуга принес туда завтрак; я не мог сдерживать свою радость. Да это и не было просто радостью – все мое тело трепетало от возбуждения, и пульс бился как бешеный. Я ни минуты не мог оставаться на месте; я перепрыгивал через стулья, хлопал в ладоши и громко хохотал. Клерваль сперва приписывал мое оживление радости нашего свидания, но, взглядевшись в меня внимательней, он заметил в моих глазах дикие искры безумия, а мой неудержимый, истерический хохот удивил и испугал его.

– Милый Виктор, – воскликнул он, – скажи, ради бога, что случилось? Не смейся так. Ведь ты болен. Что за причина всего этого?

– Не спрашивай, – вскричал я, закрывая глаза руками, ибо мне почудилось, что страшное существо проскользнуло в комнату, – он может рассказать... О, спаси меня, спаси! – Мне показалось, что чудовище схватило меня, я стал бешено отбиваться и в судорогах упал на пол.

Бедный Клерваль! Что он должен был почувствовать! Встреча, которой он ждал с такой радостью, обернулась бедой. Но я ничего этого не сознавал. Я был без памяти, и прошло много времени, прежде чем я пришел в себя.

То было начало нервной горячки, на несколько месяцев приковавшей меня к постели. Все это время Клерваль был единственной моей сиделкой. Я узнал впоследствии, что он, щадя старость моего отца, которому долгая дорога была бы не под силу, и зная, как моя болезнь огорчит Элизабет, скрыл от них серьезность моего положения. Он знал, что никто не сумеет ухаживать за мной внимательнее, чем он, и, твердо надеясь на мое выздоровление, не сомневался, что поступает по отношению к ним наилучшим образом.

В действительности же я был очень болен, и ничто, кроме неустанной самоотверженной заботы моего друга, не могло бы вернуть меня к жизни. Мне все время мерещилось сотворенное мною чудовище, и я без умолку им бредил. Мои слова, несомненно, удивляли Анри; сперва он счел их за бессмысленный бред; но упорство, с каким я возвращался все к той же теме, убедило его, что причиной моей болезни явилось некое страшное и необычайное событие.

Я поправлялся очень медленно – не раз повторные вспышки болезни пугали и огорчали моего друга. Помню, когда я впервые смог с удовольствием оглядеться вокруг, я заметил, что на деревьях, осенявших мое окно, вместо осенних листьев были молодые побеги. Весна в тот год стояла волшебная, и это немало помогло моему выздоровлению. Я чувствовал, что и в моей груди возрождаются любовь и радость; моя мрачность исчезла, и скоро я был так же весел, как в те времена, когда я еще не знал роковой страсти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.